

А. В. ИЛЬЧЕВ,

профессор кафедры литературы и русского языка СПбГУП,
доктор филологических наук

ИДЕАЛ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»

В. Г. Белинский, разрабатывая эстетику реализма, специально подчеркнул проблему идеала и его авторского выражения в литературе нового типа. Если поэтика дореалистического письма прямо выражала авторский идеал через изображение «украшенной природы» («старая поэтика позволяет изображать все, что вам угодно, но только предписывает при этом изображенный предмет... украсить»¹), то поэтика реализма остро осознает дистанцию между идеалом и действительностью, между авторским пониманием жизни и логикой самой жизни. Поэтому авторская позиция выражается косвенно, опосредованно («...идеал тут понимается не как украшение... а как отношения, в которые ставит друг другу автор созданные им типы, сообразно с мыслью, которую он хочет развить своим произведением»²).

«Станционный смотритель» А. С. Пушкина — одно из первых реалистических произведений, определивших значительные особенности русского реализма, в частности, его гуманизм. Отсюда — пристальное внимание исследователей к этой небольшой и на первый взгляд понятной повести. Но уже простого обращения к литературоведческой традиции достаточно, чтобы обнаружить не просто разные, а порой противоположные толкования смысла повести, авторского отношения к событиям. Первая сложность, с которой сталкивается читатель, — сказовая природа повести. Основные ее сюжетные звенья подаются то через слово титулярного советника А. Г. Н., то через слово Самсона Вырина, то через слово рыжего мальчика. И все это обрамлено «молчаливым образом Белкина» (С. Г. Бочаров). Сказовая природа по-

вести создает атмосферу неопределенности и недосказанности, непроясненности мотивировок поступков героев. Вот как рассказывается о посещении Минского лекарем: «Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дня через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил обедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольные друг другом»³. Чуть позже сам лекарь так «пересказывает» это событие: «Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец или только желал похвастаться дальновидностью» (VI, 138), так и остается загадкой для читателя.

Эта закономерность действует и в центральных эпизодах повести. Так, реакция Дуни, уезжающей с Минским, лишь названа, да и то весьма характерно: «Дуня стояла в недоумении...» (VI, 137). Рассказ ямщика этого недоумения несколько не снимает: «Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте» (VI, 138). В исследовательских пересказах эта недосказанность часто конкретизируется так, что бедная Дуня оказывается чуть ли не «похищена» Минским⁴. Между тем из самой повести это с очевидностью не следует.

В результате суждения исследователей о том, почему герои не могут обрести свое счастье, и попытки найти виноватого связыва-

¹ Белинский В. Г. Собр. соч.: в 9 т. М., 1982. Т. 8 С. 353.

² Там же. С. 352.

³ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М., 1957. Т. VI. С. 136. В дальнейшем повесть А. С. Пушкина цитируется по этому изданию.

⁴ Благой Д. Д. От Кантемира до наших дней: в 2 т. М., 1979. Т. 2. С. 208.

ются то с Дуней⁵, то с Минским⁶, то с Выриным⁷. Уже это многообразие мнений и оценок позволяет усомниться в том, что существует однозначное решение: очевидно, что действительность, лежащая за гранью сказочного слова, оказывается многомерней, чем любое суждение о ней. В пушкинской повести каждый персонаж, стремясь к своему счастью, строит его на несчастье другого. Вырин мыслит себя счастливым только с дочерью, что оборачивается для нее родительской тиранией. Дуня пытается устроить свое счастье с Минским, забывая об отце, и это — эгоизм. Минский, даже не пытаясь найти общего языка с Выриным, предлагает ему деньги, тем самым как бы покупая Дуню и т. д. Возникает ситуация, при которой все герои оказываются в известном смысле уравнены. «У Пушкина <...> намечено, — пишет Н. К. Гей, — где и как жизнь для того, кого любишь, переходит невидимо для человека любящего в ублажение жизни собственной»⁸. Всем героям повести недостает человечности и высшей меры любви. Но это не значит, что они плохи, они просто обыкновенны. И это не говорит о том, что они не интересны. Эта мысль не находит прямого выражения, а возникает «от противоположного». Пушкин при этом нигде не осуждает героев: каждый несет свое бремя ответственности.

Наиболее отчетливо пушкинский идеал проясняется мотивом лубочных картинок, который вводит в подтекст повести библейскую идею всепрощающей любви. Картинки в значительной степени подчиняются тому общему сказочному закону, который действует в повести. Библейская притча дана не сама по себе, а в «изложении» картинок и в пересказе А. Г. Н. Однако, в отличие от непроясненности сюжетных звеньев повести, поданных через сказочное слово, библейская притча известна. Лубочные картинки позволили мотивированно ввести столь высокий и авторитетный контекст в бытовую повесть. Ироничность же «немецкого» пересказа не исключает возможности сопоставления вечной истины Библии и истории Дуни и ее отца. Это происходит точно так же, как реализуется содержащийся в подтексте имени Самсо-

на Вырина намек на библейский персонаж. С одной стороны, это сближение иронично: библейский Самсон — самоотверженный герой, а Самсон Вырин — смирившийся пьяница. Но с другой — библейский Самсон, лишившись волос, потерял свою силу, и Самсон Вырин, оставшись без Дуни, опустил и потерял интерес к жизни.

Важно подчеркнуть, что эти сопоставления возникают не прямо: между притчей о блудном сыне и историей Дуни такая же разница, как между библейским Самсоном и Выриным. Однако сравнение состоялось, что расставило свои акценты, проясняя смысловые оттенки повести.

Библейский идеал всепрощающей любви остается идеалом, в свете которого осознаются поступки персонажей. Дистанция между высокостью библейской притчи и прозаичностью конкретной жизни не чувствуется оттого, что притча вводится через лубочные картинки, то есть косвенно. Идеальная версия сюжета, предложенная притчей, не подавляет своей авторитетностью логики поступков героев повести. Ироничность повествовательной манеры еще более скрадывает эту дистанцию, лишая авторскую позицию прямого ригоризма и дидактизма⁹. Расстояние между высотой идеала и реальной человеческой жизнью как бы отменяется, но только весьма своеобразным, как мы видим, способом. В самом деле, если представить, что социальные барьеры «сняты», — то исчезнут все возникшие противоречия: трагедия зрителя легко обернулась бы счастьем отца и тестя, но реальная повесть превратилась бы в сказку. Пушкинский сюжет «скользит» между тем и другим, прикасаясь то к одному полюсу (счастье Дуни и Минского), то к другому (смерть Вырина, Дуня на могиле отца).

В результате читатель осознает как идеальную сторону жизни, так и реальную ее ипостась. Причем то и другое существует не раздельно, а сливается в повествовании.

Социальное и человеческое в повести не просто противопоставлены, но сложно взаимодействуют. Пушкин не делит персонажей на отрицательных и положительных, выходя за пределы подобной логики. Взамен жестких оценок героев — понимание, однако не снимающее вины. К мысли об эгоистическом счастье добавляется мысль о мире действительном, «не приспособленном» для полной реализации гармонических отношений. На этом

⁵ См., например: *Лежнев А.* Проза Пушкина. М., 1973. С. 343–344; *Гранин Д.* Тридцать ступенек: повесть, эссе. Л., 1984. С. 110.

⁶ *Гукасова А. Г.* Болдинский период в творчестве А. С. Пушкина. М., 1973. С. 187–188.

⁷ *Гершензон М. О.* Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 126.

⁸ *Гей Н. К.* Проза Пушкина: поэтика повествования. М., 1989. С. 33.

⁹ См.: *Шмид В.* Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина». СПб., 1996. С. 141–144.

уровне прочтения вопрос вины конкретных персонажей отходит на второй план, а на первый выступает проблема трагизма человеческого бытия. Особенно остро она подчеркнута финалом, который, с одной стороны, подтверждает сюжет притчи (дочь вернулась), а с другой — отступает от него, так как воз-

вращаться уже не к кому. Трагически-недоуменная ситуация лишь подчеркивается переплетением образов смерти (могила, кладбище) и цветения жизни (дети, благополучная судьба Дуни), что вновь выводит повествование к идее извечной конфликтности бытия человека в мире.